

Лев ГУДКОВ

К проблеме негативной идентификации

Вторая чеченская война началась на характерном психологическом фоне — астеническом переживании безнадежности существования, **бесперспективности**, массовой усталости, истощенности смысловой почвы коллективной **жизни**. Но резко изменение ситуации, особенно после террористических актов, взрывов домов в трех российских городах, всплеска ярости, мести и страха, а затем — прихода В.Путина к власти, сопровождалось быстрым повышением общего тонаса российского общества. Война заставила как бы повеселеть население России. И хотя эта фаза политической и социальной мобилизации продолжалась сравнительно недолго — к весне она закончилась, тем не менее интенсивность процессов массовой консолидации, наблюдаемая в России с начала второй чеченской войны, а перед этим — во время натовских бомбардировок Югославии, заставляет пересмотреть представления о характере механизмов социальной идентичности, дополнить прежние разработки идеей "негативной идентификации".

Речь не идет о сознании или чувстве "близости", коллективной общности, возникающей в результате массовых реакций на ситуации общего напряжения, фрустрации, раздражения, страхов и близких к ним чувств, сплывающих людей. Подобные значения идентичности являются реактивными и психологически неустойчивыми состояниями, хотя в качестве более или менее длительного фактора угрозы они уже могут играть роль своего рода "горизонта" происходящего, рамки, внутри которой соответствующим образом будут интерпретироваться те или иные значимые для общества события. К.Шмитт, например, рассматривал наличие этого обстоятельства в качестве главного условия политической консолидации нации*.

Социальная идентичность как проблема. Напротив, то, о чем пойдет речь ниже, предельно консервативно по своим функциям — обеспечить снижающую адаптацию к изменениям групповой и институциональной структуры. **Благодаря** механизмам негативной идентичности сохраняется сама эта функция, хотя состав структурных элементов идентичности может меняться. Правильнее было бы в этом случае говорить не о реактивных изменениях или трансформациях, а лишь об известном рода перегруппировках, подвигах пластов этих значений, интегрирующих членов сообщества, о выходе на "поверхность" более архаических или примитивных конфигураций и отходе на задний план более сложных и специализированных символических образований. "Поверхность" или "задний план" в данном случае представляют собой метафоры различной силы значений центральных для того или иного общества институтов.

В социальных науках проблематика идентичности обычно относится к области социальной психологии. Здесь описываются эмпирически фиксируемые процессы социализации в группе, принятия различных социальных ролей в институте, коллективе или неформальной группе, сообществе, усвоение общих верований, ценностей, символов. Формирование идентичности предполагает такую степень субъективной интернализации традиций, обычаев и норм, когда действующий индивид уже не отделяет себя в определенном плане от группы, воспринимая нечто происходящее как имеющее отношение не к нему отдельно, а к определенному "мы". Для социолога же это "мы" ста-

новится главным предметом при рассмотрении характера групповой солидарности, средством ее объяснения.

Соответственно, основные усилия связаны с тем, чтобы установить и описать в более или менее систематическом виде структуру ценностных **представлений**, образующих "мы", интенсивность подобных связей, сами ситуации возникновения или распада "мы", формы и механизмы институционализации и репродукции "мы" и пр. Обычно при этом во внимание принимаются главным образом те позитивные самопредставления и сопутствующие им (или сигнализирующие о появлении соответствующих представлений) социальные чувства, из которых и складывается основа идентичности — чувства чести, достоинства, комфортности, защищенности, благополучия, близости к своим и т.п. Таковы описания локальной, этнической, корпоративной, конфессиональной или социальной идентичности, пробуждающие в членах сообщества чувства гордости за свой народ, **семью**, коллектив единомышленников или сотрудников, солидарности коллег, "любовь к отеческим гробам", память о великих людях или национальных героях, сознание языковой или территориальной общности, испытаний в прошлом, веру в общность происхождения, судьбы или принадлежность к единой церкви и пр.

Различные исследования, делающие предметом своего описания характер социальной идентичности, фиксируют и принадлежность к государству, народу, истории, и успехи в науках, искусствах, разделяемое членами сообщества чувство причастности к его **цивилизационным** достижениям, **выделенности** из ряда других народов благодаря престижу высоких технологий или памятников культуры, прошлого, **короче**, ко всему, что может считаться ценным для других и в самих себе. (Символические связи и отношения такого рода рассматриваются во многих главах книги "Советский простой человек" и статьях "Мониторинг", посвященных дальнейшим исследованиям по той же программе.) Понятно, что эта гордость или удовлетворение от принадлежности к такому-то сообществу не есть причинная связь (дескать, гордимся потому, что наши предки создали то-то и то-то, что мы обладаем тем-то — высоким уровнем жизни, политическими институтами, героической историей и пр.), а лишь повод, условие или средство артикуляции и рационализации этого эксклюзивного сознания "мы".

Чувство достоинства или самоуважения рождается вне конкретных обстоятельств и мотивов самооценки. Напротив, вполне возможна обратная связь — самоуважение и чувство собственного достоинства заставляет вести себя таким образом, что последствия такого поведения (оформляемые окружающими или специализированными институтами) лишь подкрепляют и подтверждают высокий образ "Я", мотивирующий соответствующие достижения.

Сегодня для современного общества главную роль играют те значения, которые определяют системы вознаграждений и санкций для действий индивида, чье поведение мотивировано нормами и ценностями специализированных институтов, причем не какого-то одного, а их системой. Среди них важнейшее место занимают разного рода профессиональные группы и корпорации, с одной стороны, и связывающие их обменные или представительские институты — с другой. Это не только рынок со всей сложнейшей потребительской или достигательской мотивацией, ориентацией на партнера, принудительной доброжелательностью (вроде "keep smiling", "smile and world smile with you" и т.п.), но и разного рода ассоциации, клубы, партии, парламенты, СМИ и пр., обеспечивающие интеграцию сложно дифференцированных сообществ и подсистем в единое целое, а значит, и вырабатывающие соответствующие представления о человеке и обществе.

* *Schmitt K. Der Begriff des Politischen // Archiv fur Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. 1927. Bd. 58. H. 1. S. 5.*

Важно то, что основание для такого рода позитивной идентичности составляют генерализованные значения действия и символы (успех, статус, функции), приобретенные псевдопсихологический вид или ценностные свойства (**упорство**, аккуратность, прилежность, трудолюбие, чистоплотность, уверенность в себе, сдержанность, дисциплинированность, расчетливость, рациональность и т.п.). Такие значения социального человека оттесняют на второй план прежние **сословно-корпоративные** ценности и значения (верность, лояльность, послушание, самоотверженность, бескорыстие и пр.), характерные для предшествующих эпох и институтов, рассматриваемых как более традиционные или архаические (армия, бюрократия, церковь, суд и др.).

При всей важности подобного описания позитивной идентичности все же замечу, что описанные в различных работах структуры такого рода (как правило, образы этнонациональной идентичности) являются очень одномерной и неточной картиной массового сознания. Они провоцируют понимание структуры идентичности как статичной конфигурации ценностных представлений, существующих как бы сами по себе, без связи с другими представлениями, культурными нормами или социальными регулятивами, институциональными механизмами вне рамок больших социальных процессов, что явно не так.

Неадекватность такой трактовки становится очевидной, как только во внимание принимаются такие факты, как противоречивость или иерархичность, многомерность структуры идентификации, когда в ответ на действие того или иного фактора или обстоятельства делается акцент только на определенные семантические связи, происходит перегруппировка смысловых элементов, уход на задний план одних значений или ослабление их роли в определенном контексте и ситуации действия. Так, заметный с 1995–1996 гг. рост позитивных самооценок и этнонациональных самоутверждений в России сопровождался систематическим снижением доверия к церкви (в 1,5 раза за пять лет)*. Церковь — как особый, специализированный в ценностном отношении институт, получивший самый значительный кредит морального доверия населения в ситуации дефицита общих символов, — стала терять его по мере усиления в обществе постсоветского неорационализма и роста разнообразных ксенофобий (особенно в отношении "лиц кавказской национальности"), антизападничества, антиеческого психоза и спроса на псевдохаризматические, популистские фигуры, способные навести порядок, воплощением которых стал В.Путин.

Методологический (теоретико-инструментальный) смысл понятия "идентичность" состоит в том, что эта конструкция позволяет удерживать единство действующего лица в ситуации различных институциональных или культурных разрывов, значимости многих нормативных предписаний или правил, мотивов действия, часто противоречащих один другому, но возникающих или актуализирующихся в ходе взаимодействия с разными партнерами. Отчасти эту неоднородность семантического поля идентификации, неартикулированную, скрытый и нерационализированный фон позитивных самоопределений позволяют обнаружить и выявить такие попытки, которые нацелены на то, чтобы вытянуть на первый план проективные контрфигуры идентификации, например, с помощью процедуры шкалы социальных дистанций Богардуса или схожих методик.

Благодаря подобным техникам мы получаем возможность представлять структуру идентификации чем-то

вроде набора ролевых и позиционных "паспарту" или системы зеркал (включая и кривые, и льстящие зрителю), так что смотрящийся в них может найти наиболее эффективное для себя изображение. Оно будет меняться (как в детском калейдоскопе) при каждом повороте, т.е. соотношении участников действия, давая каждый раз несколько иные конфигурации смыслов в зависимости от вообразяемого характера партнера.

Самый простой пример — структура этнонациональной идентичности, которая никак не может быть представлена в виде плоскостной проекции различных определений "мы" (набора типичных качеств представителя какой-то этнической общности), а предполагает известную глубину соответствий (так, в ответ на вопрос о национальной принадлежности респондент мог сказать, что он русский или мордвин) и функциональных зависимостей, выражений одного через другое, в том числе неявных позитивных утверждений о себе через высказывание негативных оценок других и т.п.

Короче говоря, при анализе механизмов (а не картины, не образов!) идентификации необходимо принимать во внимание скрытые, подразумеваемые связи и соотношения к значимым социальным или символическим персонажам и институтам, которые в самих прямых высказываниях и самоквалификациях не упоминаются респондентом. Не упоминаются они или могут не упоминаться по разным причинам: табуированности обычая, из-за вероятности негативных санкций контролирующих или управляющих институтов, непрявственности, непроработанности, неартикулированности языка выражения (отсутствия в публичном поле соответствующих групп или институтов, заинтересованных в разработке и рафинировании такого языка), противодействия неодолимых социальных мотивов поведения, разнесенности ситуаций действия и принятых форм выражения и пр.

Поэтому идентичность — это динамическое состояние, или процесс достижения идентификации (согласие относительно оценок собственного поведения членов группы или сообщества). "Работа" идентификационных механизмов при всем их многообразии сводится к квалификации или оцениванию ставших **проблематичными**, неопределенными или неизвестными фактами обстоятельств жизни или конкретной ситуации, т.е. соотношения их с некоторыми идеальными представлениями, задающими образ должного или желаемого, возможного или бывшего в далеком прошлом поведения. Идентификация может представлять **"восходящий"**, **"повышающий"** вариант отождествления индивида (предполагающий ориентацию на референтную или статусно более высокую группу) или **"понижающий"** вариант (например, как освобождение от лишних мыслей, что предлагала щедринская вобла — "тише едешь, дальше будешь", "уши выше лба не растут" и т.п.).

Крайне важно отметить в связи с этим, что сами по себе представления такого рода (о желательном, обязательном или возможном поведении, соответственно, нежелательном, невозможном и т.п.) представляют собой превращенные или метафорически выраженные институциональные ресурсы действия (правила и нормы действия, определяемые соответствующими институтами). Причем это определение или управление совершенно не обязательно может быть выражено прямым и императивным образом (последнее скорее является крайним случаем); чаще же это лишь ориентация на самые тривиальные и расхожие представления, играющие для действующего роль веры, надежды на соответствующую поддержку, общеколлективными риторическими опорами для выражения солидарности с институтами разного типа).

* См. ряд показателей доверия к важнейшим социальным институтам, публикуемых в "Мониторинге", а также с. 5-6 этого номера.

Механизмы негативной идентификации в России. Социологически их можно квалифицировать как самоутверждение от противного, от другого значимого предмета или представления, но выраженное в форме отрицания каких-либо качеств или ценностей у их носителя, выступающего в виде чужого, отвратительного, пугающего, угрожающего, персонифицирующего все, что неприемлемо в членах группы или сообщества, короче, антипода. В принципе такой способ представления или оформления реальности характерен для слабо дифференцированных сообществ, отличающихся "горизонтальной", или "линейной" структурой социальных отношений (**невыделенностью**, неспециализированностью членов сообщества, в антропологическом смысле — "простых" людей). Можно это сказать и иначе: само сообщество конституируется отношением к негативному фактору, чужому или враждебному, который становится условием солидарности его членов, сознающих себя в рамках подобного значимого и ценного для них единства, где они противопоставлены чужим. Отношение к этому негативному компоненту (его история или возможная угроза, любой модальный план — вероятность, необходимость или "прошлое", реальное или фиктивное, мифологическое) становится объясняющим обстоятельством групповой солидарности и символом самой группы. Благодаря этому полаганию возникает граница между "своим" и "чужим", позволяющая поддерживать **правила** поведения внутри группы (племенная этика) и другие нормы поведения вне ее, равно как и устанавливать социальную дистанцию между "своими" и "другими" в качестве элементарной основы социальной морфологии. В принципе это самый первичный или, может быть, архаичный способ группообразования и социализации, установления целого через запрет, табу или суггестивную угрозу (императив воспитания: "нельзя, не делай того-то и того-то!"). В этом ряду лежат исторические предания о войне, геноциде, внутреннем терроре правителей и пр., с соответствующими персонажами, предрассудками и мифами.

Подобные формы распространены во многих обществах, где они составляют фоновые слои теневого значения человека, общества, культуры, образующие предельные, ресурсные нормы поведения, страхующие индивидуальное или групповое существование от слишком жесткой нормативности и ригористичности (карнавалы механизмы). Но для нормального существования или режима воспроизводства сложной культуры в современном обществе эти механизмы негативной идентификации маргинальны, экстраординарны. Поэтому то, что делает их особенно интересными и важными для понимания процессов трансформации или логики разложения тоталитарного общества, связано с их выходом из рутинной сферы бытовых предрассудков и этнических стереотипов на первый план, вторичная идеологизация их в качестве средств обоснования мобилизационных политических акций, а затем — превращение их в легитимирующую основу центральных социальных институтов, а значит, соответствующую селекцию и подбор кадров для высшего эшелона государственной власти, непомерное влияние генералитета и спецслужб и пр. Иначе говоря, это означает не просто редукцию сложности общества, угрожающий для действующей системы власти рост функциональной дифференциации и децентрализации советской системы, но и усиливающую примитивизацию структуры российского общества. Поэтому за явлениями негативной идентификации следует усматривать гораздо более серьезные вещи, нежели просто усиление русского неотрадиционализма или рост этнического популизма, как это происходит в России в последнее время. Речь идет о процессах отнесенности деградации общества.

"Спротивление материала". Перечень причин, которыми объясняют неудачи в реформировании советского или постсоветского общества (при всех его видимых изменениях), может быть очень длинным, а сами основания объяснения взаимоисключающими. Здесь и утверждения, что реформы делались начальством под свои интересы и что инициаторы реформ — Е.Гайдар и его команда — плохи (в смысле плохие политики, прогнозисты, теоретики, экономисты, оторванные от жизни дилетанты, враги России обворовали народ, лишили пенсионеров накопленных, разрушили армию и науку и пр.). Другие варианты: слишком велико сопротивление бюрократии, общество не созрело, западные модели не годятся для России и пр. Все объяснения исходят из одной негласной посылки — молчаливой пассивности самого "населения", податливости общества, которое должно как-то, то ли с благодарностью, то ли терпеливо, реагировать на усилия по его изменению, соответственно презумпции общества как пластической массы, народа, который нужно лишь просветить и направить на истинный путь. Отсюда разные фантастические интеллигентские проекты (они же — его страхи) относительно просвещенного авторитаризма, введения рынка и демократии сверху и пр.

Вместе с тем практически никто из объясняющих не затрагивал ни нежелания, сопротивления населения происходящим переменам, ни нежелания общества что-либо радикально менять (в том числе и жить лучше, но иначе, чем жили до сих пор). Массовые настроения населения, особенно ответы людей, перешагнувших порог 40 лет, окрашены тоном вечного брюзжания, разъедающего недовольства другими (и собой), жалоб на неудачную жизнь, озлобленность, грубость и агрессивность окружающих, обидой на власть, на хроническую бедность, безысходность и растерянность. Обычно этот негативный тон существования объясняется низким материальным уровнем жизни в коммунистических странах, неудачей реформ, эгоизмом властей, коррупцией и пр. Однако при этом упускается из виду связь между "недовольством властью" и "зависимостью от нее". Это неразрывная пара важнейших элементов самоидентификации российского общества, обеспечивающих постоянную поддержку властям (причем всегда — в наихудшем варианте), восприятие и выбор тех, кто сегодня у власти, как не имеющих альтернативы, при том, что неизменным остается отношение к властям, к политике в целом как делу грязному, сопровождаемому общей коррупцией, злоупотреблением, воровством. К этому псевдопарадоксу следует добавить еще и общее или, по крайней мере, широко распространенное равнодушие к политическим событиям, особенно ярко проявившееся во время второй чеченской войны, бездействие, воспринимаемое как "вечное русское терпение", подавленность всяких мотиваций достижения, нежелание жить лучше, ущемленная национальная гордость и разнообразные комплексы неполноценности и т.п., короче, все то, что предопределяет унылое сознание, что ничего нельзя сделать, ничего нельзя изменить.

Этот эмоциональный фон последнего десятилетия практически не меняется — все та же смесь усталости, агрессии (и окружающих, и своей собственной), апатии, страхов разного рода, бесперспективности своего существования и т.п., короче, коллективный астенический синдром. Если взять данные только за семь лет, с момента начала проведения "Мониторинга", то доля людей, "испытывающих напряжение, раздражение" или тем более — "страх, тоску и т.п." будет очень устойчивой и при небольших колебаниях в зависимости от ситуации составляет в среднем 51% (соотношение позитивных и негативных настроений будет составлять 42:51, а удовлетворенность жизнью будет вы-

Преобладание негативных установок у респондентов
(в % от числа опрошенных; "Мониторинг" данные о затруднившихся ответить не приводятся)

Год, месяц опросов	Настроение респондента*		Оценки жизни, которую ведет респондент**		
	позитивные переживания	негативные переживания	вполне устраивает	отчасти устраивает	совершенно не устраивает
1996					
Январь	34	56	8	35	54
Май	43	47	11	32	55
Сентябрь	42	46	11	32	55
1997					
Январь	38	52	8	27	62
Май	41	52	14	32	61
Сентябрь	44	48	17	34	46
1998					
Январь	40	52	12	30	56
Май	40	55	13	31	55
Сентябрь	27	68	9	23	66
1999					
Январь	36	57	8	30	61
Май	40	50	16	35	46
Сентябрь	41	52	11	32	64
2000					
Январь	50	43	16	34	48
Май	54	37	12	33	63
Сентябрь	55	37	17	35	45

* Сумма ответов респондентов на вопрос: "Что бы Вы могли сказать о своем настроении в последние дни?" — "прекрасное" + "нормальное ровное состояние" и "испытываю напряжение, раздражение" + "испытываю страх, тоску".

** Распределение ответов на вопрос: "Если говорить в целом, в какой мере устраивает Вас жизнь которую Вы ведете?"

глядеть так: "вполне удовлетворен" — 12%, "отчасти удовлетворен" — 32% и "не удовлетворен" — 56%) (табл. 1).

Единственное исключение — консолидация общества после начала второй чеченской войны, когда все социальные показатели пошли вверх*.

Чтобы снять часто встречаемое мнение, что подобные настроения появились только после распада СССР и гайдаровских реформ, приведу данные двух опросов, проведенных в январе 1991 г. и в августе 2000 г. На вопрос: "Что бы Вы могли сказать о нынешнем состоянии общественной нравственности в России?", заданный в 1991 г., 34% опрошенных ответили — "вышло на поверхность то, что раньше скрывалось", еще 30% сказали — "произошло резкое падение нравов", и лишь 23% были настроены более спокойно и реалистически: " нравы людей изменились, у каждого поколения свои нравы и свое представление о должном" (прочие затруднились с ответом). То, в чем заключалось это падение нравов или что вышло на поверхность в виде всей этой скверны, которая ранее скрывалась, представлено в табл. 2.

Как видим, за эти годы сама структура ответов почти не изменилась, хотя произошла некоторая перегруппировка: усилилась озабоченность, связанная с ростом насилия и жестокости, преступностью и распушенностью молодежи, популярностью эротики, порнографии, ослаб-

* См. также: "Мониторинг перемен: Основные тенденции" в этом номере. С. 3–6, графики 1–5 и 7–9.

ла тревога по поводу "безразличия к окружающим" и состоянием трудовой дисциплины.

Людей удачливых, оптимистов, что называется "с базовым доверием к миру" всего 4-5%. 85-90% опрошенных

Таблица 2
Когда Вы думаете о падении общественной нравственности, то что Вы прежде всего имеете в виду?
(в % от числа опрошенных, ранжировано по 2000 г.)

Вариант ответа	1991 г.	2000 г.
	N=1189 человек	N=1600 человек
Рост насилия, жестокости	41	51
Рост уголовных преступлений	25	41
Распушенность современной молодежи	26	39
Безразличие к судьбам окружающих	41	32
Распространение духа стяжательства, жажда наживы	31	25
Равнодушие к судьбам Родины	23	24
Распространение эротики и порнографии	11	20
Распространение проституции	6	18
Падение трудовой дисциплины	24	13
Рост числа изнасилований	4	12

убеждены, что государство обязано обеспечить работой каждого, кто может работать. Но вместе с тем 76% крайне недовольны тем, как им платят за эту самую государственную работу, считая себя обделенными, **недооцененными** и пр. Свыше половины работников уверены, что им лично платят меньше, чем тем, кто работает рядом с ними и выполняет такую же по квалификации работу. Разрыв в представлениях о том, сколько должна стоить "нормальная жизнь" (при соответствующем достатке, уровне семейных доходов и т.п., так чтобы можно было жить прилично, по меркам самих **респондентов**, но не роскошно, не богато) составляет, по данным многолетних замеров "Мониторинга", **3–4** раза, а именно: 1993 г. — 4,6; 1994 г. — 3,1; 1995 г. — 3,3; 1996 г. — 3,5; 1997 г. — 3,3; 1998 г. — 3,9; 1999 г. — 3,9; 2000 г. — 4,0. Самый высокий перепад между ожиданиями работника и фактическим душевным доходом был зафиксирован весной 1993 г. (год спустя после гайдоровских реформ), в самом начале систематических опросов "Мониторинга": он составлял **5,1–5,2** раза.

Иначе говоря, характер российского общества определяется теми, "кому не додали". (Интереснее всего здесь, конечно, фигура, "кто должен дать" — апеллятивная конфигурация полноты социальных значений и контроля, патерналистская власть, воплощающая все положительные значения целого, "возможности" раздачи благ, мотивы подобного благодеяния, конструкция человека, зависимого от этой анонимной силы "они".) Государственно-зависимое сознание — это не экономическое понятие, а определенное устройство общества, культуры прежде всего.

Главный, ведущий момент в нем — это обязательный "опыт неудачи", через который проходит основная масса населения. Он рожден репрессивно-ограничивающим характером институциональной регламентации жизни в советском или постсоветском обществе, особенно всего, что выходит за рамки общепринятого "пайка" государственно-распределительной системы. (Опытом неудачи я называю его лишь в неявном противопоставлении "опыту удаче" — необходимому условию успеха в жизни, формирования достижительской мотивации, культивируемой в западной культуре и без которой не может быть ни талантливый предприниматель, ни исследователь, ни врач.) Подчеркну, что это не эмпирически фиксируемая регулярность, не причинно-следственные отношения (дескать, все потыкались поначалу, по молодости, по глупости, но потом **успокоились**, перебесились, и приняли жизнь как таковую) — нет. Дело обстоит, как раз наоборот. Опыт неудачи — это не личный итог проб и ошибок, а структура идентификации, набор различных квалификаций и **примеривания** к себе разнообразных ситуаций и внешних ролей. Этому опыту научаются, его осваивают как гигиенические навыки или правила правописания. Он имя для специфического культурного механизма самоопределения, составляющего одну из принципиальных черт русской **культуры**, важнейшую (и особо значимую, едва ли не драгоценную) часть коллективного существования, кодекса социального поведения, часть социализации.

Суть этого опыта заключается в том, чтобы принять (и научиться особым образом реагировать) ожидания или требования окружения, социальных **партнеров**, сделав это своей личной, персональной сущностью, самопониманием, самоотождествлением. Он выражается, в частности, как высказывание о том, почему у данного человека, субъекта говорения и объяснения себе и другим, не получается делать что-то лучше, чем он делает, жить лучше, чем он живет, быть уважаемым за то, что он сам делает (а не за то, на что он претендует в силу того, что он "личность, самоценная сущность", а социологически — член данного сообщества). Значимым здесь является разрыв самооценки и декларируемых аспирации (сколько мне положено

платить, чтобы можно было жить, по моим представлениям, "нормально", см. выше), и фактических достижений в реальной жизни, в профессиональной работе, в семье, в отношениях с окружающими и пр. Этот разрыв принципиален, можно сказать, конститутивен для личности "человека советского".

Основа его самоуважения строится на характере запросов, а не достижений. Вопрос же в том — почему эти запросы не могут быть реализованы. "Лень" — слишком простое, а потому неверное объяснение этого обстоятельства, поскольку часто "неудачник", "совок" делает несоизмеримо больше хлопотливых и суетливых действий, пустой работы, имитационной или замещающей, чем та масса усилий, которая была бы потребна для позитивного достижения или действия (**вдумывания**, анализа, чтения трудных и новых книг, доброжелательности, любви, аккуратного исполнения того, что полагается делать по технологической или должностной инструкции и пр.).

Механизм **"импринтинга неудачи"** включает следующие внутренние действия: 1) снижение планки запросов и требований к себе; 2) признание более важных ситуативных, здесь и сейчас, мотивов и причин действий, замещающих референтное (то, которое могло бы принести реальный результат, успех); 3) пропорциональная этому снижению экстенсивная, исключительная, "запредельная" идеализация самого достижения и усилия, которая становится по плечу только трансцендентальным героям, идолам, святым — мертвым или запредельным людям, во всяком случае, внемирским фигурам (кто ими становится не так важно, лишь бы были два элемента: "страдания" и последующее внешнее, не российское (!) признание его успеха или ценности; здесь можно назвать любые примеры: Сахаров, Бродский, Мандельштам или какое-то свое собственное имя или персонаж, санкционирующие "ценностный выбор"); 4) чувство неудовлетворенности или дискомфорта из-за своей "неспособности" сделать нечто, повторить достижение значимых других, вины и сдвинутой агрессии в отношении себя; 5) соответственно в качестве психологического и социального трансферта этого негативизма выступает негативная проекция этого высокого — квалификация ближайшего и дальнего окружения как дурных ("поганеньких", "тормозных", "порочных", "мешающих", эгоистичных, ограниченных и т.п.). Объяснение более или менее эмпирических и правдоподобных причин и обстоятельств, почему невозможно соответствующее усилие и действие (включая и чувство, и мысль, и душевное состояние), производится лишь после усвоения механизмов этой рационализации отказа от действия достижения, самодисциплинирования и пр.

Два элемента — внутренняя неприязнь и внешнее преклонение (не уважение, а зависимость) — образуют главные составляющие этого механизма конституции "Другого", "других", социальных партнеров действующего (или пассивно терпящего, недействующего в точном смысле слова). Образование этого "Другого" становится главным условием ориентации нашего человека в мире, задает горизонт и поле понимания других людей, с которыми взаимодействует "совок". Его появление означает, что: а) любой партнер, независимо от близости или интимности отношений, значимости или даже характера связей и отношений, по сути своего социального взаимодействия выступает не как партнер (т.е. тот, в ком мы заинтересованы, кто представляет для нас значимую позитивную ценность как источник благ и ценностных значений разного рода, как помощник, как учитель, как сотрудник, любовник, как необходимое и желательное условие совместной жизни или деятельности и т.п.), а воспринимается заведомо неполноценным, в большей или меньшей степени негативным; б) враждебным, агрессивным, чужим, угрожающим тебе (твоему покою, благополучию, призна-

нию со стороны других), пусть даже в виде возможного отказа от предоставления блага или ценности, услуги или признания. Обратная сторона этого механизма — вечная русская тоска и мечтательность, маниловская сентиментальность и **присюсюкивание** в отношении высокой, но мертвой "культуры" вкупе с пьяной слезой о погубленной или испорченной — другими! — жизни, с одной стороны, зависть и агрессия — с другой. Иначе говоря, воображаемое поле социальности изначально задано неприязнью или ненавистью к фантомным, но материализующимся в соответствующих ситуациях конкретным раздражающим фигурам. Эти враги могут быть близкими (скандалы в семье, с соседями и на работе, вспомним фрейденберговское: "Склока — альфа и омега нашей политики. Склока — наша методология")* или — что важнее — дальними, чужими: "черные", чеченцы, евреи, олигархи, мафия, власти, НАТО, американцы и пр. Поэтому так примечательна глубокая уверенность в порочности всех, кто занимает какие-нибудь значимые социальные позиции, уверенность, естественно, не следующая из непосредственного личного опыта. Однако образуя основу самоидентичности, подобные установки разрушают мотивацию достижения, мобильности, активности, задавая негативные значения социальной структуры и пр.

По существу эти структуры представлений являются механизмами систематического разрушения позитивной гражданской солидарности и одновременно — условием формирования негативной солидарности — в зависти, страхе, сопротивлении любым побуждениям и стимулам к большей продуктивности или интенсивности достижения, открытости, доброжелательности, повышению качества и ценности действия. Эта солидарность зависимых и слабых людей в халтуре, пассивности, тревоге и страхах, которые порождаются без достаточного реального основания, но благодаря которым поддерживается коллективная идентичность низости. "Когда нечем гордиться, можно жить, понося и принижая других"**. Загаженные подъезды и лифты, привычно обшарпанные дома, нелюбовь к себе и близким непосредственно коррелируют с централизованным бюрократическим государством и великой державой, вечно угрожающей кому-то. Но чем хуже мы сами, тем сильнее героически-аскетический миф великого прошлого и супердержавы, ее инструментальных — космических или колониальных достижений, с одной стороны, а с другой — ирреальные зеркала собственных фантастических достоинств: мы — простые, открытые, самые духовные, культурные, добрые, гостеприимные, готовые помочь и пр. Отсюда — мифы русской соборности, терпения, духовности, самоотверженности, общинности и пр.

Сами по себе подобные системы идентификации были бы невозможны, не могли бы воспроизводиться без закрепления их в нравах и обычаях, системе воспитания благодаря многолетним усилиям советской государственной машины. В этом смысле совершенно не случайны

* О.М.Фрейденберг: "Всюду, во всех учреждениях, во всех квартирах падает склока, это порождение нашего порядка, совершенно новое понятие и новый термин, не переводимый ни на один культурный язык. Трудно объяснить, что это такое. Это низкая мелкая вражда, злобная групповщина одних против других... разжигание низменных страстишек одних против других. Напряженные до крайности нервы и моральное одичание приводит группу людей в остервенение против другой группы людей, или одного человека против другого. Склока — это естественное состояние натравливаемых друг на друга людей, беспомощно озверевших... Склока — альфа и омега нашей политики. Склока — наша методология". (В кн.: *Пастернак Б. Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Нью-Йорк; Лондон, 1981. С. 291.)

** *Стреляный А.* Россия вчера, сегодня, завтра. Читая ваши письма. Передачи радио "Свобода". 2000. 21-27 авг.

апелляции к государству, к власти, требования навести порядок, установить справедливое распределение доходов, ограничить богатых и т.п., выражаемые значительной частью общества (от 45 до 60%), при одновременно почти такой же доле не верящих в то, что государство в состоянии добиться этого или даже что оно будет предпринимать хоть что-нибудь, чтобы этого добиться. Это свидетельствует о специфической риторической функции, которые имеют подобные представления в организации образа реальности, поддержании структуры двоемыслия. Государство здесь становится воплощением, аккумуляцией социальной зависти, коллективного недоброжелательства, гарантирующего слишком резвому индивиду неудачу. Государство в этом типе сознания берет на себя функцию репрессивного "мы" — "они" по отношению к предполагаемому партнеру "обычного человека", неудачника. Оно представляет собой институционально закрепленные механизмы понижения качества до "приемлемого" уровня (который заведомо полагается как посредственно-плохой, точнее, предельно допустимый по своему качеству, едва терпимый, а значит, такой, какой может быть у всех). Быть плохим (слабым, страдающим, бедным, неудачником) хорошо. Это обеспечивает индивиду легкую опознаваемость и принятие окружающими. Такая роль создает внутренний психологический комфорт, но в ситуации многообразия групп, в дифференцированных системах отношений таит в себе угрозу известного ролевого диссонанса и напряжений.

Структура понижающей идентификации. Как всякая психологическая система, эта структура негативной идентификации сохраняется в свернутом виде исторические следы своего возникновения. Вся советская система возникла в ситуации плебейского бунта против оказавшейся в какой-то момент парализованной и дисфункциональной традиционно-патримониальной системы господства и соответствующей ей социальной структуры, не способной адаптироваться к существенным изменениям или модернизовавшихся слишком медленно в сравнении с нарастающим объемом проблем общества, быстро массовизирующегося в условиях мировой войны. Сам тип (pattern) системы, сложившейся в тот момент, представлял собой перевернутую структуру представлений и запросов городского люмпена, его антропологических стандартов, моральных оценок, норм и уровня потребностей: в качестве ключевых образцов должного, надлежащего, нормативного, интегрирующих систему, оказались крайне бедные по качеству и разнообразию (низовые, антиаристократические или антибуржуазные), крайне упрощенные представления о человеке, которые затем стали воспроизводиться в соответствующих функциональных подсистемах и институтах. По отношению к традиционным моделям общества, где центр (соединенный с властно-статусной вертикалью) обозначал место предельно-возможного культурного многообразия, возможностей признания со стороны других групп чести, славы, благородства, соответствующего им образа жизни, ценностей, знаний, новых идей и пр., сложившаяся советская система была перевернута: та система институтов, которая стала замещать прежний функциональный центр, могла функционировать только как воспроизводящая минимальный по своему разнообразию и качеству набор культурных образцов (действия, мысли, моральные ценности, информационный горизонт и пр.), но уж зато декларировала его максимально широкое распространение. Распределительная экономика и репрессивно-бюрократическая система могли продлевать свое существование, только постоянно снижая уровень разнообразия, принудительно поддерживая упрощенные (упрощающие) стандарты жизни, оценок, потребления, интерпретации и пр.

Разумеется, некоторое фактическое повышение потребления и качества жизни с течением времени происходило (за счет других, латентных механизмов — теневой экономики, воровства, коррупции, невыполнения планов и пр.), но сам механизм систематического относительного обеднения (относительно уровня возможного и функциональных императивов усложняющихся систем) работал постоянно. Последствия этого были таковы:

1. Более сложные, в том числе идеальные или более высокие, мотивы или запросы институционально не воспроизводятся, превращаясь в ненормативные, **девиантные** или сугубо индивидуальные составляющие действия, подлежащие разного рода негативным санкциям со стороны контролирующих инстанций и ближайшего социального окружения.

2. Открыто принятыми действиями могут быть лишь организационно-рутинные или технологически-инструментальные формы поведения — **все**, что выходит за их рамки, становится проблемой для действующего, решаемой неинституциональными и несанкционированными средствами.

3. Не- или **внеинституциональные** мотивы и ценности действия не исчезают, разумеется, а образуют неcodифицированный и культурно не рационализированный, не отмеченный план поведения и существования; при этом сама жизнь (и "на людях", и "для себя") приобретает свойства двуличия, лицемерия, разделения на декларируемые и оперативные, прагматические коды поведения и существования, **рутинизированные** настолько, что они фактически не замечаются, выплескиваясь в анекдотах, в актах агрессии или правонарушениях.

4. Структура мотивации таким образом включает в себя в качестве базовой составляющей ориентацию на анонимно-выраженного "другого", который, по существу, представляет собой сниженный вариант **"они=как все"**, т.е. минимальный объем того, что подобает "обычному человеку" (своего рода социокультурный минимум). Но как и "прожиточный минимум" — столь же условная и проективная категория — этот антропологический минимум представляет собой нормативные ресурсы репрессивной и контролирующей коллективности. Каждый человек в этой системе становится заложником сниженного (в сравнении с собственными возможностями действующего) ближайшего социального окружения, а все ценное и значимое проявляется лишь как негатив этого "как все", отталкивание от упрощенного общепринятого.

Дискуссионным является вопрос, можно, правомерно ли вообще говорить об имморализме целого общества, каким бы оно ни было — будь то нацистская Германия, какое-то африканское государство, вырезавшее половину членов одного из своих племен, предки которых как-то не так отнеслись к предкам нынешнего его руководства, или, наконец, Советский Союз и его преемники. Теоретически, видимо, нет, поскольку люди как-то все-таки согласуют свое поведение, ориентируясь на общие, считающиеся почему-то обязательными правила. Речь о другом: когда ценности и нормативные представления, составляющие собственно "российскую культуру", ее смыслы и значения, закрепляются за кем-то или **чем-то**, имеющим "запредельный" статус, они либо чужие, далекие в любом смысле — в воображаемом пространстве и времени, т.е. либо за "бугром" — либо в воображаемом прошлом. Опять-таки само по себе это было бы еще не так уж интересно (бог трансцендентен, и это не новость). Уникальность, или мягче, своеобразие нынешней российской культуры заключается в том, что она выстраивается в отталкивании от этого "чужого и далекого", что сама по себе она не способна артикулировать нечто значимое, ценное, придать людям, произведениям, событиям достоинство и

силу. Это не только отсутствие, самоликвидация, "самопроизвольный аборт" элиты (социальной, культурной, религиозной и пр.), но и особый образ существования общества, постоянно нуждающегося во внутреннем враге или угрозе.

"Негативная" определенность. Таким образом, возникла специфическая, советская внутренняя структура человека: собственные позитивные мотивы и представления индивида не могут быть определены более или менее четко и рефлексивно, они становятся определенными и могут быть выражены только в виде негативных значений, чаще всего в виде различных страхов (в полной форме — как утрата, в редуцированных формах — как страх перед чужим, незнакомым, представляющимся враждебным или беспокоящим, таящим угрозу), причем один из главных или наиболее важных социальных страхов — страх "неудачи", парализующий достигательский комплекс мотивации (базовые навыки социальности в других культурах). Ее можно было бы назвать антиподом протестантской этики, описанной М.Вебером. Иначе говоря, индивид в качестве социальной фигуры, действующего, постоянно вынужден, как краб, быть в панцире базового недоверия к реальности или играть роль слабого, неполноценного, вызывающего жалость, имитировать свою "несъедобность". В социальном плане это может проявляться в форме недоверия к другим или характерной нелюбви к себе, ощущении неполноценности и вины, постоянной раздвоенности и догматической категоричности, отсутствии гедонизма и наслаждения жизнью, любых форм "искусства жизни" (даже у богатых, поскольку это не входит в групповой этикет). Страхи и постоянное чувство вины лишаются своего психологического содержания и превращаются в формы проективной коллективности, при которых реальное существование людей становится **атомизированным**, изолированным, "одиночеством", поскольку тем самым подавлены нормы позитивной, одобряющей и поддерживающей солидарности с другими. Отсюда — хроническое социальное **недовольство**, на протяжении, бесперспективность и отсутствие будущего. Такая антропологическая структура российского социального человека (человека, лишённого будущего, тревожного, зависимого, диффузно агрессивного, завистливого, готового скорее сказать о другом гадость, чем найти достоинства) предполагает в качестве уравнивающего баланса резко идеализированные и нереальные компоненты представлений о коллективном "мы", реализуемых только в воображаемых ситуациях героического толка или в утопическом пространстве прошлого, будущего, иного.

Для активности же, деятельности, смысл которой предполагает некоторое утверждение или достижение, практически не остается ресурса одобрения или позитивных санкций. Но это не значит, что она невозможна. В культуре, в которой достижение непосредственно запрещено или длительное время было закрыто, невозможно, соответственно подвергалось институциональным санкциям и общему осуждению, выделиться, придать себе авторитет, претендовать на значимый статус можно только через нарушение общепринятых табу, через внезапный для всех циничный жест или ненормативное действие, вплоть до преступления или кощунства. Только в этих условиях нормы общественного согласия, ханжеского приличия и **двусмыслия** могут превратиться в ресурс индивидуального действия — "кто смел, тот и съел". Поэтому предпринимательство в России до сих пор сопровождается существованием "на лезвии бритвы", постоянным нарушением массы запрещающих или ограничивающих законов и обыденных представлений (и воспринимается общественным

мнением как девиантное). Но гораздо в большей степени подобные ресурсы резервируют для себя особые службы или институты, находящиеся на особом положении — спецслужбы, пропаганда, "внутренняя партия" или высшая администрация, а также — криминальный мир, "блатари", этику которых подробно разобрал В.Шаламов, понимавший социальный смысл таких отношений. (Ср., например: "Ложь, обман, провокация по отношению к френу, хотя бы к человеку, который спас блатаря от смерти, — все это не только в порядке вещей, но и особая доблесть блатного мира, его закон".*)

Не следует думать, что подобные механизмы ограничены определенными социальными сферами или уровнями социума. Вопрос здесь лишь в технической "постановке глаза", навыках определения конфигураций такого рода. Главное в механизмах негативной идентификации — отталкивание от сферы или смысловых систем высокой ценностной значимости при сильнейшей зависимости от них, возможность преступить конвенциональную норму, черту, "распустить себя", не "собрать себя" (как говорили отцы церкви) на каком-то предмете, а именно "распутиться". Черный анекдот конца советской эпохи или нынешний "стеб", глумливая "попса", "Чапаев и пустота", небывалый разлив мата или его суррогатов в средах, где его никогда не было и пр. — все это признаки или радикалы меняющейся по своим элементам, но остающейся принципиально той же, системы идентификации. Для массы — Чечня и "олигархи", "мафия", "Ельцин", для "образованных" — русский постмодернизм, восторг "деконструкции", соцарт или "стеб-шоу". Успех нынешнего постмодернизма, претендующего в России на статус философии как таковой и вытеснившего у молодых все другие направления методологии гуманитарного знания, обязан не своей какой-то особой продуктивности, а напротив, внутренней вульгарности, возможности быть релятивизму, освобождающему от конкретного анализа и необходимости отвечать за свои слова и трактовки.

Конечно, каждый выражается как может, но суть выражения примерно одна и та же — поношение ценного (предмета, пространства, символа и пр.), ценности есть способ ее признания, нарушение табу через выражение абсолютного снижения чужого высокого — это не столько циничское переворачивание того, что другие люди считают высоким, значимым, безусловно ценным, сколько средство придания себе существенности и значимости, оказывающееся единственно возможным или доступным. Аморфное, бессубъектное раздражение, которое вызывает сама мысль о том, что для неких других могут быть значимы и авторитетны представления и идеи из неповседневного ряда, конденсируется и проявляется как потребность в их оскорблении, осквернении, абсолютном снижении через соединение их с чем-то полностью противоположным. Эта низость становится условием утверждения себя как некоей, до того не имеющей ни значения или ценности сущности (как и будничные мат, заполняющий пробелы между частями речи). Такие формы могут появляться только в определенных социальных условиях и средах, культурных обстоятельствах — отсутствии или дегенеративном состоянии-посредующих социальных образований и культурных институций между высоким и повседневным, бытовым, т.е. бесценным, не лишенным ценности (как это получается после оскорбления и снижения), а не имеющим до того ценности. В нашем же случае подобные формы постепенно начинают замещать центральные институты и системы символического и социального воспроизводства.

* Шаламов В. Несколько моих жизней. М.: Республика, 1996. С. 191.

Центральные институты авторитарно-репрессивны, героичны и требуют аскетического самопожертвования — отсюда вранье, компенсируемое насилием и принуждением. Соответственно, развивается циническая культура, снижающая репрессивность через понижение высоты. Нет промежуточных ценностных структур и областей значения, которые могли бы снять этот вертикальный характер идентификации (**авторитарно-надсубъективный**). Поэтому уравновесить эти институты можно лишь угрозой — войны, экспансии чужого, неясной опасности и пр., но для этого необходимо постоянное педалирование катастрофизма, горизонта несчастья, воровства, всеобщей коррумпированности, бедствия и пр., которые обеспечивали бы признание власти как условия репрессивного порядка.

Таким образом, мы можем говорить о действии совершенно определенных социальных механизмов, которые разрушают позитивные мотивации, т.е. те системы внутреннего вознаграждения (гратификации), без которых не могут работать институты современного общества (последние специфичны не только для западной культуры, но и для любых динамично развивающихся обществ, модернизирующихся стран, например, Японии или азиатских драконов). Эти разрушительные начала могут выражаться или представляться по-разному, но общим для них является негативное представление о человеке, внутренне, изначально присущая русской или советской действительности неприязнь и к себе, и к другому, особенно, если он чем-то лучше или удачливее, чем окружающие. А без позитивных санкций или установок в отношении другого, с которым взаимодействуют самым разным образом (в профессиональном плане, по делам любого рода, любовным, политическим и пр.), а соответственно, и представления о лучшем существовании, образе жизни, вещах, работе, жилье, обстановке, здоровье, счастье, в конце концов, невозможна какая-либо солидарность, т.е. разного рода длительные отношения, называемые в социологии ассоциациями, союзами, клубами, предприятиями, объединениями, группами и пр., короче, то, что Гегель называл мешанским или буржуазным, бюргерским или "гражданским" обществом. В этом смысле российское общество (как совокупность населения или большая его часть, та, что определяет основные процессы его существования) "пусто изнутри", оно живет с внутренне парализованным чувством достоинства, "высокого", "доброе" и каких угодно других ценностей. Это утверждение может показаться оскорбительным лишь на фоне декларативного, витринного почтения массы, народа, широких слоев и прочих фикций коллективности. Но только на первый взгляд.

Причины устойчивости "негативных" механизмов. Зададимся вопросом, почему (в отличие от ситуации в Восточной и Центральной Европе) процессы разложения институциональной системы тоталитарного советского общества не компенсируются появлением таких движений или групп, которые могли бы способствовать развитию новых институтов и форм гражданского общества? И что было такого в самом устройстве тоталитарной империи, что заблокировало воспроизводство тех базовых отношений и ценностей, которые предполагают негосударственную институционализацию взаимной заинтересованности людей друг в друге (структуры обмена и соответствующей кооперации), а вместе с тем и различные виды позитивной солидарности или общности, не связанные с узкой утилитарностью? Один из возможных ответов — смысловые структуры негативной идентификации, описанные выше.

Наиболее значимые механизмы поддержания советской коллективности строились на силе отталкивания от чужого и угрожающего, в качестве которых выступали

самые различные социальные и мифологические персонажи. Последние могли **меняться**, но их функциональная роль оставалась в принципе схожей — быть фокусом негативной идентификации для интегрируемого таким образом сообщества. В любом случае советское сообщество могло чувствовать себя более или менее благополучно лишь в режиме изоляции от внешнего и угрожающего мира, культивируемой и тщательно поддерживаемой атмосферы постоянной готовности к **чему-то**, соответственно, всеобщее принимаемой риторики индивидуального самопожертвования, аскетизма, терпения и подчинения руководящей и направляющей власти. Совершенно неважно, что это был уровень декларируемых ценностей и коллективных символов, что официозная патетичность подобных представлений уравнивалась анекдотами, черным юмором, всеобщим обманом, халтурой и развешивающей завистью к тем, кто в силу должностного положения или изворотливости мог позволить себе уровень благополучия, превышавший застойную бедность. Советское двоемыслие не меняло сути коллективной интеграции.

Удерживать этот уровень относительной примитивности длительное время было невозможно: режим мобилизационного общества не воспроизводился. Разрывы — в силу бедности и недифференцированности социальной и культурной системы — имели прежде всего поколенческий характер, дети хотели жить лучше, спокойнее, чем их родители, со всеми вытекающими проблемами поколенческих конфликтов и эрозии идеологического контроля. Кроме того, изоляция в СССР не могла быть абсолютной в силу самой логики блокового противостояния. ВПК нуждался в подтоке технической информации, поскольку систематическое подавление культурного и социального разнообразия кастрировало интеллектуальную элиту, все больше и больше формируя ее как чисто репродуктивную и распределительную бюрократию — "советскую интеллигенцию", озабоченную лишь ретрансляцией и известной модификацией советского режима, сохранением величия государства, проведением "справедливой" социальной политики, защитой отечественной культуры против разлагающего влияния Запада и пр., но, что называется, органически не способной ни вносить новые образцы и идеи, ни рационализировать, осмысливать положение дел в обществе.

Обслуживающая прежний режим наиболее образованная часть репродуктивной или технологической бюрократии, "советская интеллигенция", оказалась настолько связанной со структурами власти, их ценностями и культурой, что в ситуации краха системы перешла в состояние острой дезадаптации и непродуктивного неприятия любых социальных или экономических инноваций, новых отношений, не связанных с патерналистским и репрессивным государством. Это — с одной стороны, а с другой — внутренняя композиция наиболее распространенных и влиятельных ценностных представлений в русской культуре, охватывающих не только остаточные, инерционные имперские претензии на исключительность (самобытность), защитно-компенсаторных претензий быть совершенно независимыми от других стран и культур, но и определенные социальные предписания, навязывающие, каким надлежит быть человеку, ограничивающие то, что люди должны хотеть и к чему они могут стремиться (в качестве низкой или потребительской культуры и пр.). В свою очередь подобная слепая спесь препятствует принятию роли учеников, последователей ведущих стран Запада, а соответственно, ведет к отторжению тех ценностей западной культуры, общества, которые создали поле притяжения для успешно развивающихся бывших соцстран, торопящихся идентифицироваться с Западом и вписаться в клуб европейски живущих стран. Все вместе это создает

такие социальные механизмы, которые подавляют импульсы и мотивы позитивной солидарности, интересы и нужду людей друг в друге как источниках благ, положительных санкций, без чего становится невозможным сам принцип обмена, рынка, солидарности в разнообразии.

Каждый шаг неизбежных и принудительных изменений, сопутствующих разложению советской системы, сопровождался некрозом тех символов и ценностей, которые обеспечивали бы позитивную gratification человеческого сосуществования, достигательскую мотивацию и благодарную взаимную солидарность. Этих ценностных значений и так было немного в советской системе, но сбой в структурах формирования новых коллективных ценностей оборачивается уксусным распадом представлений о том, что люди ценят друг в друге. Во всяком случае эти позитивные значения либо уходят из сферы общесоциальной в повседневное царство семейных или межличностных отношений (как последний ресурс терпимого существования), либо слабеют и стираются до такой степени, что модусом рутинного существования можно считать хроническую и всепроникающую всеобщую скуку. Следствием его сохранения является прежде всего отсутствие ориентации на множество независимых и самодостаточных других, которые могли бы быть партнерами, заинтересованными в тех или иных действиях индивида, для кого последний обладает ценностью и важностью. Как утверждал Адам Смит, булочник или мясник будет улыбаться вам независимо от того, какое у него настроение, если он рассчитывает на ваше внимание, заинтересованность, ресурсы, разворачиваясь к вам тем, что у него есть лучшего, стараясь вообразить себе это "лучшее", причем, добавлю, будет улыбаться, пока это не станет социальным **"habitusом"**, привычкой, второй натурой, основанием уважения к себе, как к другому. Это и есть механизмы позитивной gratification, интегрирующей сообщество как процесс. Рынок, независимо от исходных мотивов своих участников, производит общество, множество людей, заинтересованных в существовании других, причем (если взять длительную перспективу), заинтересованных в постоянном улучшении жизни этих других. Тоталитарная система, советская система — это множество **атомизированных** людей, объединенных лишь общей зависимостью по отношению к власти, изолированных друг от друга недоверием или неприязнью друг к другу, отсутствием заинтересованности, других связей, кроме как традиционных или дефицитарных, обеспечивающих минимальные запросы, комфорт существования как "выживания".

Недовольство россиян представляет собой негативную проекцию самих себя, неуважения к себе и отсутствие источников, инстанций, которые бы сняли эти фрустрирующие обстоятельства. Более того, этот негативизм и есть форма или матрица антропологического воспроизводства наиболее существенных представлений общества этого типа в его неспособности вообразить себе лучшие обстоятельства существования или свое нежелание их создать. Еще раз повторю, дело не в экономике, не в кризисе, вызванном "реформами", а в более устойчивых механизмах воспроизводства такого негативного отношения к действительности, являющегося вывернутым отношением к себе.

Иначе говоря, объяснение нынешним неудачам, войне, все более сильному увязанию в повторяющихся катастрофах, дефолтах, политических сбоях и прочем следует искать в культуре массового российского или постсоветского человека.

Страна, приоткрыв границы, чуть-чуть расширив информационные горизонты и получив возможность сравнения, с неохотой и тяжкими переживаниями стала осознавать свою бедность, пока еще частично — бедность как ли-

шение элементарного и полагающегося. По логике мифа, общая атомизированность и зависимость от собственных комплексов натурализуется в виде парных фигур: устойчивое утверждение себя как жертвы (обстоятельств, "системы", козней начальства и пр.) и различных сверхценных персонажей, являющихся своего рода тенями собственного бессилия россиян — демонизируемого Запада, олигархов, чиновников, банкиров, демократов, депутатов и т.п. Поразительна эта вера во всеобщую коррумпированность, продажность государственных чиновников, судей, милиции, злую волю алчных политиков ("...гады, придурки, болтуны, пьянь, дорвались до кормушки, корыстны, некомпетентны, агрессивны, шуты" и пр., ничего не делается из того, что должно делаться, одна суета и всеобщее холуйство); прокуратуры, милиции, военных и пр. ("власти все разворовали, страну продали, все сырье, все национальные богатства"). Дело не в том, что нет взятничества или традиционного казенного произвола, а в том, что собственное такое же воровство, халтура, насилие, скотство при этом абсолютно не замечаются и не осознаются, вытесняются, о чем свидетельствует страсть, с какой утверждается, что "Россия входит в первую десятку наиболее коррумпированных стран", аффективность категорических высказываний о том, что все вокруг жулики, спекулянты, бандиты, ловкачи и т.п.* ("Никто меня не убедит, что в России можно честно заработать миллионы..."), что предприниматели и банкиры — наглые, невежественные нувориши и т.п. Поэтому речь идет в данном случае не о фактических обстоятельствах тех или иных махинаций или злоупотреблений (без этой смазки вся российская государственная машина, экономика, здравоохранение, образование и прочие институты просто не смогли бы функционировать — в этом плане эти явления нельзя считать коррупцией или махинациями в западном формально правовом смысле), а в самоконституции говорящего, общества как такового.

Если рассмотреть явления негативной идентификации не в структурном плане, а в процессуальном, то мы увидим, как отдельные элементы этой системы с периферии заимствуются, абсорбируются центральными символическими и институциональными структурами, просачиваются в язык власти, церкви, образованных групп населения, школ и вузов, язык СМИ. Особенно интенсивно этот процесс шел в 1999 г., после НАТОвских бомбардировок милошевичевской Сербии и начала чеченской войны, выборной кампании. Характер коллективного понимания и квалификации происходящего в России снизился до уровня военных, даже не губернаторов или столичной номенклатуры. Тон в обществе и политике сегодня задают самые инерционные социальные институты — армия, МВД, Генеральная прокуратура РФ, ФСБ, Кругозор и представления военной верхушки, "силовиков" в широком смысле (включая и спецслужбы) стали, если и не эталонными, то весьма авторитетными и очень распространенными. Во всяком случае общепринятыми стали стандарты их взглядов и оценок, особенно военных. "Стратегически" (уровень высокой политики) они воспроизводят государственные ценности, психологически и эмоционально эксплуатируют переживания тех, кто хоронил своих близких, погибших в Чечне. Сегодня они предельно близки к тому, чтобы директивно определять руководство страной. Но именно в силу примитивности этого типа мышления их приход к власти будет безуспешным.

* См.: Левада Ю.А. Человек в корруптивном пространстве: размышления на материале и на полях исследования // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2000. № 5. С. 7-14.

Валентина БОДРОВА

Насилие в семье

Проблема насилия в семье появилась в стране не сегодня, но в бывшем СССР она относилась к числу "закрытых" тем. Поэтому кроме как среди экспертов в милиции и, возможно, работников ЗАГСов, где фиксировались причины разводов, она не была предметом обсуждения, анализа и тем более достоянием общественного мнения.

Демократизация общества позволила снять завесу "закрытости" с проблемы насилия в семье. В опросе женщин, который проходил в январе-марте 2000 г. в Великом Новгороде, Перми и Березниках (N=3900 человек), у женщин в возрасте 15-44 лет выяснялось, подвергались ли они насилию в семье, каковы его виды, распространенность этого явления в зависимости от социально-демографических характеристик респонденток и каково было их собственное ответное поведение по отношению к мужу или партнеру. Условно виды насилия были разделены на четыре группы в зависимости от степени тяжести — от угроз избиения до угроз ножом или другим видом оружия.

Среди опрошенных респондентов всех трех городов почти каждая пятая женщина подвергалась насилию со стороны партнера (это были угрозы ударить ее или швырнуть в нее какие-либо предметы и т.п.); каждая седьмая сообщила, что партнер применял по отношению к ней физическое насилие: толкал, пинал, давал оплеуху, а еще каждую десятую женщину партнер пинал ногами, бил кулаками и каждой двадцать пятой опрошенной женщине партнер угрожал ножом или другим видом оружия.

В ответах всех женщин, подвергшихся домашнему насилию, прослеживаются две тенденции. *Первая*: число потерпевших снижается по мере усиления угрозы физического воздействия. *Вторая*: в старших возрастах число женщин, подвергавшихся насилию, больше, чем у молодых.

В каждом из трех городов девяти женщинам из десяти (из числа тех, кто ответил на соответствующий вопрос) партнер грозил, что ударит или швырнет в них какие-либо предметы. Молодые женщины из г. Березники в возрасте до 24 лет почти в пять раз реже подвергались этому виду насилия по сравнению с женщинами 35-44 лет; в Перми — в 4 раза реже, а в Великом Новгороде — в 3 раза реже. Более серьезному виду насилия такому, как избиение кулаками, пинание ногами и т.п., подвергалась каждая вторая ответившая женщина во всех трех городах, причем молодые женщины до 24 лет, проживающие в г. Березники, почти в 5 раз реже, чем женщины в старшем возрасте (35-44 года); в Перми и Великом Новгороде это соотношение составило 1 к 4 (табл. 1).

Подтверждается пословица "Быет, значит, любит". Среди ответивших женщин, которые подвергались тем или иным видам насилия, наиболее высока доля замужних. Женщины, живущие в гражданском браке, в целом существенно реже, чем замужние, подвергались насилию со стороны партнера. При этом, однако, отмечаются значительные различия по городам, где проходил опрос. В г. Березники они в 1,5 раза реже, чем замужние, подвергались угрозам побоев, в Перми в — 2 раза и в Великом Новгороде — в 2,6 раза реже. В Березниках женщины, живущие в гражданском браке, реже, чем замужние женщины, подвергались побоям и т.д. В то же время им несколько чаще, по сравнению с замужними женщинами, угрожали ножом или другим видом оружия. В Перми положение этих двух групп женщин отличается более существенно по сравнению с Березниками: женщины, состо-